
Тени над Крио
Александр Апрельский

Александр Апрельский
Тени над Крио

https://litres.ru/74738607
SelfPub; 2026

Аннотация

Никто не предупреждает Марика, что удар тока в гараже станет началом другой жизни, и уж тем более никто не объясняет, что делать с пустой графой персонажа, всплывающей в голове на чужой земле. Он выживает день за днём, пока не разгадывает первую магическую аномалию и не чувствует, как по венам проходит чужая, необъяснимая сила. В стычке со зверем из-под его ног неожиданно расползается лёд — способность, которой, по словам единственной попутчицы, она прежде не встречала на этом раздробленном войной континенте. Откуда взялся редкий класс, почему именно у чужака без клана и имени, и что он значит для мира, где на горизонте медленно наступает чёрная гниль? Ответов нет ни у воительницы с костяным клинком, ни у хмурого наёмника, временно идущего рядом. Кланы заняты собственными войнами, и помощи ждать неоткуда. Пока ясно одно: сила просыпается не просто так, и чем выше растёт уровень Марика, тем ближе момент, когда придётся узнать — зачем.

Содержание

Глава 1. Лужа под напряжением 4
Глава 2. Пустой лист персонажа 20
Глава 3. Девушка с клинком из кости 38
Глава 4. Первые правила мира 57
Конец ознакомительного фрагмента. 79

Тени над Крио

Глава 1. Лужа под напряжением

Будильник орёт в третий раз. Я давлю на кнопку заспанной рукой, промахиваюсь, попадаю по стакану — он падает на пол, но не разбивается, просто катится и упирается в ножку кровати. Шесть утра. За окном ещё темно, только фонарь на парковке мигает жёлтым, будто сам не уверен, стоит ли вообще светить.

Лежу ещё секунд десять, глядя в потолок с разводом от протечки, который я так и не удосужился замазать. Форма развода напоминает мне что-то вроде карты несуществующей страны. Вчера я уже думал об этом, и позавчера тоже. Хорошая примета — когда единственное развлечение в жизни это трещина на потолке.

Встаю, иду на кухню, и там на столе всё как вчера оставил: кастрюля с присохшей к стенкам лапшой, вилка торчит из неё, будто флаг на вершине. Рядом конверт от энергетической компании, розовый, с жирной красной полосой сверху — «ПРОСРОЧЕНО». Я его не открываю. Я и так знаю сумму, она у меня в голове сидит крепче, чем таблица умножения.

Наливаю воды, пью прямо из кружки, не споласкивая — какая разница. Лапшу выбрасываю в мусорное ведро, ка-

стрюлю оставляю в раковине, пускай отмокает, может быть завтра руки дойдут. Или послезавтра.

В прихожей у меня висит рабочая куртка, синяя, с вышитым на груди логотипом автосервиса, который уже наполовину облез, остались только буквы «АВТО», а дальше нечитаемое пятно. Куртка пахнет машинным маслом так плотно, что запах, кажется, въелся не в ткань, а в саму мою кожу. Надеваю её, застёгиваю до горла, потому что на улице холодно и дождливо, судя по звуку за окном.

Зеркало в прихожей треснуло ещё полгода назад, когда я уронил на него полку с обувью. Трещина идёт через всё лицо наискось, и в отражении я выгляжу как будто меня собрали из двух разных людей: один устал чуть больше другого. Под глазами тёмные полукружья, щетина отросла неровно, волосы торчат в сторону, как у человека, который спал в лучшем случае четыре часа. Я и спал четыре часа. Может, три с половиной.

— Красавец, — говорю себе вслух, без всякой иронии, просто чтобы услышать голос в тишине квартиры.

Считаю дни до зарплаты, загибая пальцы на кухне, уже на ходу, потому что опаздывать нельзя, начальник и так смотрит на меня, как на лишнюю деталь в моторе, которую давно пора выкинуть. Получается двенадцать дней. Двенадцать дней до зарплаты, и ещё минус аренда, минус та просрочка за свет, минус то, что я занял у соседа на той неделе. В сумме выходит, что денег снова не хватит. Не хватит даже на то,

чтобы просто дотянуть, не говоря уже о том, чтобы вздохнуть спокойно.

Было время, я считал это временным. Поработаю немного, накоплю, перейду куда-то получше. Теперь я просто считаю дни, без всякой надежды, что они приведут к чему-то другому, кроме следующего месяца с той же лапшой и тем же конвертом.

Выхожу из квартиры, запираю дверь на два оборота, хотя красть у меня нечего, разве что старый телевизор и те самые полтрещины зеркала. На лестнице пахнет сыростью и чьей-то вчерашней готовкой, кажется, жарили рыбу. Спускаюсь на первый этаж, толкаю дверь подъезда плечом, потому что она вечно заедает, и выхожу под мелкий дождь.

Дождь не сильный, но противный, из тех, что моросит часами и пропитывает одежду насквозь, прежде чем ты успеваешь это заметить. Подворачиваю капюшон куртки, засовываю руки в карманы. На остановке через дорогу стоит маршрутка, водитель курит, облокотившись на открытую дверь, но я прохожу мимо, не глядя в ту сторону. Два часа назад я уже пересчитал мелочь в кармане куртки, там хватит разве что на хлеб, если повезёт, на хлеб и что-нибудь к нему.

До гаража идти минут сорок, если шагать быстро, не оглядываясь на лужи и не обходя их по-человечески, а просто перепрыгивая, когда получается, или шлёпая прямо через них, когда не получается. Улицы в этот час почти пустые, редкие машины проезжают, расплёскивая воду из-под колёс, и каж-

дый раз я отступаю на полшага в сторону, привычно, без раздражения уже — просто рефлекс человека, который слишком много раз промокал таким образом.

Небо серое, без единого просвета, будто кто-то натянул сверху мокрую тряпку и забыл её снять. Я иду, опустив голову, и думаю ни о чём конкретном — просто перебираю в голове список того, что нужно успеть за смену: заменить тормозные колодки на той синей "девятке", проверить проводку у грузовика, который начальник обещал клиенту ещё на той неделе, а потом ещё эта лужа у входа в гараж, которую давно пора засыпать, потому что она разрослась после вчерашнего ливня чуть ли не на половину двора.

Капюшон сползает, дождь попадает за шиворот, холодная капля скатывается вдоль спины, и я дёргаю плечом, но поправлять не тороплюсь — какая разница, всё равно вымокну до нитки, пока дойду. Гараж уже виднеется в конце улицы, низкое серое здание с ржавой вывеской, и я прибавляю шагу, потому что знаю: опоздание — это разговор, которого мне сегодня хочется меньше всего на свете.

* * *

Гараж встречает меня скрежетом металла и запахом солярки — дверь ещё не закрылась за спиной, а Серёга уже кричит через весь бокс:

— О, явление Христа народу! Полшестого на часах, между прочим.

— Пять минут, Серёг. Пять.

— А я и говорю: явление. Опоздавшего Христа.

Серёга Бочков стоит возле подъёмника, крутит в руках ключ на семнадцать, и с него капает — не то дождь, не то пот, по жаре этого не отличить, а сейчас, в октябре, значит точно дождь, успел зацепить, пока бежал от остановки. Куртка на нём такая же, как у меня, только ещё более масляная, будто он в ней спит.

Стягиваю капюшон, вешаю куртку на крюк у входа, рядом с десятком таких же засаленных роб, и иду мимо верстака, где дядя Толя что-то выписывает в замызганный журнал, не поднимая головы.

— Марик, — говорит он, не отрываясь от бумаги. — Видишь, сколько там во дворе стоит? Выглядываю в приоткрытые ворота. Три машины, одна за другой, как в очереди за зарплатой: синяя "девятка", грузовик с помятым бортом и ещё какой-то универсал, который я вижу впервые.

— Вижу.

— Вот и шевелись. Клиент по грузовику звонил уже два раза, обещал приехать к обеду.

— Понял, дядь Толь.

Он всё-таки поднимает голову, смотрит на меня исподлобья, и в этом взгляде ровно столько усталости, сколько у меня самого, может, даже больше — ему эту контору десять лет тянуть, не мне. Коротко кивает на "девятку" и утыкается обратно в журнал.

Лезу под машину первым делом — прокладка поддона по-

текла ещё с прошлой недели, хозяин обещал приехать за ней с утра, значит, с утра и делать. Ложусь на тележку, Серёга подкатывает рядом свою, устраивается под грузовиком через два метра от меня, и некоторое время мы просто сопим в темноте, звякая ключами.

— Слушай, — доносится его голос, — а если я вот накоплю на отпуск, да махну куда-нибудь, где тепло. Прям вот решу и махну.

— Накопишь, ага.

— А чего? Отложу по чуть-чуть.

— Серёг, у тебя зарплата та же, что у меня. Ты её себе отложишь или жене отдашь?

Он фыркает где-то под грузовиком, и слышно, как звякает отвёртка об пол.

— Вот ты вредный тип. Я ж мечтаю, а ты сразу с цифрами лезешь.

— Я реалист.

— Реалист он. Тебе б тоже помечтать не мешало, а то ходишь смурной, как этот дождь на улице.

Отвечаю не сразу — прокладка не хочет отходить от поддона, прикипела намертво, приходится давить сильнее, чем надо, и костяшки скользят по металлу, оставляя на них чёрную полосу масла.

— Мечтать дорого стоит, Серёг. Я лучше прокладку поменяю.

— Философ.

Дождь за это время успел усилиться: сначала был просто шум по крыше, ровный, привычный, а теперь в него вплетается ещё один звук — частое дробное капанье, не с крыши в общем смысле, а в одной конкретной точке. Высовываю голову из-под машины, смотрю в сторону дальней стены, где тянется старая проводка, всё ещё советская, судя по виду изоляции, растрескавшейся и пожелтевшей. Там, прямо под щитком, на бетонном полу уже набралась лужица, и с потолка в неё бьёт тонкая, но упорная струйка.

— Опять течёт, — говорю я скорее себе, чем Серёге.

Он высовывается из-под грузовика, щурится в ту же сторону.

— Второй год течёт. Дядь Толь, крыша!

Анатолий выходит из своей конторки — комнатушки, отгороженной от бокса куском фанеры и застеклённой дверью, — вытирает руки тряпкой и смотрит на лужу с таким видом, будто она лично его обидела.

— После смены гляну, — бросает он, махнув рукой в сторону течи, как отгоняют назойливую муху. — Сейчас не до того, клиенты ждут.

— А если током кого шарахнет? — всё же уточняет Серёга, без особого, впрочем, напора — так, для порядка.

— Шарахнет — так доложите мне, тогда и погляжу, — отрезает дядя Толя и, не дожидаясь ответа, скрывается обратно за фанерной дверью, оставляя после себя запах табака и сырости.

Серёга переглядывается со мной, пожимает плечами и снова лезет под грузовик.

— Начальство, — бормочет он оттуда. — Всегда знает, когда не до того.

Я смотрю ещё секунду на лужицу у щитка, на то, как она медленно расползается по растрескавшемуся бетону в сторону прохода, и возвращаюсь под "девятку" — прокладка сама себя не поменяет, а до обеда ещё грузовик и этот неизвестный универсал.

* * *

Прокладку я всё-таки одолел, и к четырём часам под «девяткой» остаётся только собрать, что раскидал. Дождь за это время набирает силу, бьёт по крыше гаража уже не ровным шумом, а каким-то остервенелым дробом, и там, в углу, у старого щитка, лужа успела разрастись — не лужица, а настоящее озерцо с рваными краями, расползающееся по трещинам бетона.

Выбираюсь из-под машины, разгибаю спину, и та отзывается тупым тянущим хрустом где-то в районе поясницы. Вытираю руки ветошью, иду мимо щитка к инструментальному столу за новым ключом и краем глаза замечаю то, чего раньше не видел под этим углом: старый удлинитель, обмотанный синей изолентой в нескольких местах, лежит прямо у края лужи, и в одном месте изолента отошла совсем, оголив жилу. Провод тонкий, почти незаметный среди прочего хлама у стены, но именно туда с потолка методично бьёт кап-

ля за каплей, и каждая расходится по воде кругами, которые доходят почти до самого удлинителя.

Останавливаюсь на секунду, смотрю на это. Где-то в затылке шевелится мысль простая, как инструкция по технике безопасности, которую все проходили и все забыли: вода и ток вместе не дружат. Надо бы отодвинуть удлинитель подальше, или хотя бы сказать дяде Толе ещё раз, настойчивее, чем Серёга в прошлый раз.

— Марик, подсоби! — кричит Серёга от универсала, который как раз закатили на яму. — Капот заклинило, зараза, один не разгибаю.

Поворачиваю голову в его сторону — он там правда корячится, упираясь коленом в бампер, и капот топорщится под неправильным углом, как будто его перекосило при аварии. Смотрю снова на лужу у щитка. У дальнего края бокса между тем уже стоит клиент, мужик в кожаной куртке, нетерпеливо позвякивает ключами от своей отремонтированной «девятки» и явно ждёт, когда ему скажут забирать.

— Готова машина? — спрашивает он, не особо интересуясь, кому адресован вопрос.

— Готова, готова, — отзываюсь я, вытирая руки уже на ходу. — Сейчас подпишем бумаги, и забирайте.

Мысль про удлинитель на секунду отходит в сторону, уступая место более срочному: бумаги, подпись, ключи, и бегом к Серёге с капотом. Краем сознания успеваю зацепить одно соображение — здесь, в этом углу, и раньше текло, и

провод этот старый висит годами, обмотанный изолентой в палец слоем, и ничего ведь не случалось. Дядя Толя прав в своей лени: не до того сейчас, и завтра тоже скорее всего будет не до того, и через неделю. Крыша течёт второй год, как сказал Серёга, а щиток стоит на месте, и никого ещё не шарахнуло.

Подписываю клиенту бумаги, киваю, желаю счастливого пути, запираю за ним дверь бокса, и только тогда бегу к Серёге, подсовываю пальцы под край капота рядом с его руками.

— Давай на счёт три, — говорю я. — Раз, два...

Капот поддаётся с противным скрежетом, и Серёга облегчённо выдыхает, отряхивая ладони.

— Вот спасибо. А то я уже думал, тут заводом приварило.

— Универсал этот — одно расстройство, — говорю я, разглядывая мотор. — Чей вообще?

— Да мужик какой-то забрёл, говорит, сосед посоветовал. Толь сказал, принимать, деньги не лишние.

Смена после этого тянется как резиновая, минута за минутой, без просвета. Я меняю масло в универсале, потом подкручиваю что-то в «Ладе», которая появилась уже ближе к вечеру, слушаю, как Серёга бубнит себе под нос песню с радио, которое включает хозяин в конторке на полную громкость, когда клиентов нет. Руки у меня гудят от усталости, костяшки саднят там, где содрал о металл поддона, а ещё хочется есть, хотя знаю, что дома, кроме вчерашней лапши,

ничего не найду.

Про лужу у щитка вспоминаю ещё раз, уже ближе к концу смены, когда прохожу мимо с ведром грязной воды — выливаю его в сток у дальней стены и невольно смотрю туда снова. Лужа никуда не делась, капля так же мерно бьёт с потолка, оголённый провод так же лежит у самой кромки воды. Но сейчас уже почти шесть, смена заканчивается, Серёга переодевается у шкафчика, собираясь домой к жене и обещанному борщу, а я думаю только об одном: о горячем душе, о диване и о том, чтобы хоть на несколько часов забыть про запах машинного масла.

«Завтра скажу Толе ещё раз, построже», — решаю я, в последний раз скользнув взглядом по углу с проводкой, и иду мыть руки перед уходом.

* * *

Мою руку хлопает по плечу — это Серёга, уже в куртке, с рюкзаком наперевес.

— Я побежал, Марик. Светка ждёт, борщ стынет. Закроешь сам?

— Закрою, — говорю я, хотя внутри ворчу: опять я.

Дядя Толя выходит следом из конторки, на ходу выключая радио, и бросает мне связку ключей от ворот почти не глядя.

— Свет погасишь, рубильник вниз, ворота на оба засова. Утром не проспи.

— Не просплю, — отвечаю ему в спину, но он уже за дверью, и голос тонет в шуме дождя снаружи.

Дверь хлопает, и голоса обоих исчезают в шорохе ливня. Остаюсь один в гараже, и впервые за весь день становится по-настоящему тихо, если не считать воды, которая барабанит по жестяной крыше с таким остервенением, будто решила за ночь смыть весь город. Я всегда закрываю за всеми — самый молодой, значит, и самый обязанный. Серёга старше на пять лет, у него жена и борщ, а у меня только пустая квартира и лапша, так что вроде как и спешить некуда.

Иду вдоль верстака, выключаю лампы по одной. С каждой погасшей гараж темнеет, тени от инструментов на стенах вытягиваются и становятся длиннее, чем сами инструменты. Пахнет мокрым бетоном, машинным маслом и чем-то ещё — тем особым сырым духом, который появляется, когда вода находит щель в крыше и начинает жить в помещении своей жизнью. Дождь будто усилился именно сейчас, когда я остался один, будто ему только того и надо было, чтобы не было свидетелей.

Под ногами хрустит рассыпанная шайба, я чуть не оступаюсь о гаечный ключ, который кто-то — скорее всего я сам — бросил посреди прохода вместо того, чтобы убрать в ящик. Нагибаюсь, подбираю, кладу на верстак, хотя мог бы оставить до утра. Привычка. Дядя Толя не любит бардак, даже если сам же сегодня бросил тряпку на пол и забыл.

Рубильник в дальнем углу, там же, где и щиток с проводкой, которую давно пора менять и давно никто не меняет. Иду туда через весь бокс, обходя машину, которую Серёга

так и не успел закатить обратно к стене, задеваю плечом свисающий со стеллажа шланг, он качается и бьётся о металл с глухим звуком.

Лужа у стены за день разрослась ещё сильнее. Теперь она занимает едва ли не половину прохода, тёмная, маслянисто блестящая в свете последней непогашенной лампочки под потолком. Та лампочка болтается на длинном шнуре и от сквозняка через щель в воротах чуть покачивается, и вместе с ней покачивается отражение в воде — жёлтое пятно дрожит, расплывается, собирается снова.

Останавливаюсь на границе лужи, разглядывая её. Вспоминаю, что хотел сказать Толе ещё раз, построже. Не сказал. Ладно, думаю, завтра. Сейчас надо просто обойти воду и дотянуться до рычага рубильника, который торчит из серого железного ящика чуть выше уровня глаз, в полуметре от того самого удлинителя, что намотан изолентой в палец толщиной и всё равно щерится голой проволокой там, где изолента давно перестала держаться.

Присматриваюсь, куда ступить, чтобы не замочить ботинки, которые и так весь день были сырыми. Справа — сухой пятачок бетона, слева — лужа, дотягивающаяся почти до стены. Делаю шаг вбок, обходя воду по кромке, тяну руку к рычагу. До него ещё сантиметров тридцать, и я тянусь сильнее, привстаю на носки, и в этот момент нога соскальзывает с мокрого от уже начавшей скапливаться капели бетона.

Ботинок въезжает прямо в воду, брызги летят на штани-

ну, и я инстинктивно опускаю взгляд вниз — туда, где из воды, у самой моей ноги, торчит кончик провода, с которого давным-давно слезла изоляция. Последнее, что успеваю подумать перед тем, как рука касается холодного металла рубильника: надо было сказать Толе ещё раз. Построже.

* * *

Боль приходит раньше, чем мысль о боли. Ногу будто насквозь прошивает раскалённым гвоздём, снизу вверх, от пятки к колену, и дальше, в бедро, в пах, в живот, пока всё тело не становится одним туго натянутым тросом. Пальцы на руке, ещё секунду назад тянувшиеся к рычагу, сжимаются сами собой, ногти впиваются в ладонь, и я не чувствую этой боли вовсе, она тонет в той, другой, которая накрывает всё разом.

Хочу закричать и не могу. Челюсть сводит так, что зубы скрежещут друг о друга, язык зажат где-то между ними, в ушах нарастает плотный низкий гул, будто кто-то поднёс к голове гудящий трансформатор и держит там. Свет единственной лампочки под потолком вдруг взрывается, расползается по глазам длинными белыми полосами, и я уже не понимаю, горит ли она ещё или это просто искры у меня внутри черепа.

Пытаюсь отдёрнуть ногу из воды — приказываю себе отдёрнуть, явственно, будто кричу внутри самому себе: убери ногу, убери, — но тело не слушается команды, словно провода между головой и ступнёй кто-то перерезал. Колени под-

кашиваются, я чувствую, как тяжесть тела смещается вперёд, но вместо падения — странная тягучая задержка, будто воздух загустел и держит меня на весу чуть дольше, чем должен.

В нос бьёт запах палёного — не дерева, не бумаги, а чего-то более едкого, химического, как подгоревшая изолента на батарее. Рот наполняется металлическим привкусом, тяжёлым, будто я прикусил язык или лизнул старую монету. Эти два ощущения — вонь гари и вкус металла во рту — почему-то врезаются отчётливее всего остального, ярче самой боли, будто мозг в последний момент решил зацепиться хоть за что-то конкретное, прежде чем всё расплывётся.

Пол гаража несётся навстречу — вижу его краем глаза, серый бетон в масляных разводах, рассыпанную шайбу рядом с ногой, ту самую, что я чуть не раздавил минуту назад. Жду удара. Жду, что сейчас затылок врежется в этот бетон и боль станет ещё одной, добавочной, к той, что уже есть.

Удара нет.

Вместо него — темнота, наплывающая не снаружи, а изнутри, будто кто-то медленно закручивает фитиль лампы внутри черепа. Звон в ушах становится глуше, дальше, словно я проваливаюсь сквозь него, а не сквозь пол. Запах гари и палёной проводки тоже отступает, растворяется, и на мгновение мне кажется, что я падаю не вниз, а в стороны, во все стороны разом, в густую вязкую черноту без верха и низа.

Последняя связная мысль — не о боли, не о токе, не о рубильнике. Я думаю о Толе, о том, что надо было сказать ему

ещё раз про провод, построже, прямо в лицо, а не махнуть рукой и оставить на завтра. Мысль разваливается на середине, будто кто-то выдернул из-под неё опору.

Дальше нет ни пола, ни гаража, ни звука дождя по жестяной крыше. Есть только падение — без дна, без конца, без единой точки опоры, в черноту настолько полную, что в ней не остаётся даже меня самого.

Глава 2. Пустой лист персонажа

Лицо щекочет что-то жёсткое, колючее у самой щеки. Открываю глаза — и первое, что вижу, это стебель травы в палец толщиной, срезанный снизу тенью и такой близкий, что он выглядит стволом дерева, а не былинкой. Пахнет от земли странно: не сырой землёй гаражного двора, не бензином, не прелью, а чем-то сладковато-пряным, будто кто-то раздавил горсть незнакомых специй прямо под носом.

Моргаю. Трава не становится привычнее. Стебли стоят плотными пучками, широкие, с острым рубчатым краем, и каждый отливает сизым, как лезвие старого ножа. Вдыхаю глубже, стараясь понять, не снится ли мне чья-то оранжерея, но запах только крепнет, липнет к горлу.

Приподнимаюсь на локтях. Плечи ломит, будто я всю ночь проспал на бетонном полу, и где-то глубоко под кожей ещё сидит тупое воспоминание о рывке, который прошёл через тело насквозь. Сажусь — через силу, кривясь, — и наконец поднимаю голову к небу.

Неба там нет. То есть небо есть, но оно неправильное — слишком белёсое у горизонта и густо-лиловое ближе к зениту, будто кто-то плохо смешал краски и забыл растереть границу. Светило висит низко, почти у самой кромки поля, большое, непривычно крупное, цветом ближе к меди, чем к золоту солнца. Не разберу, встаёт оно или садится. Тени от

травы ложатся в сторону, которая у меня в голове не вяжется ни с утром, ни с вечером.

Пытаюсь зацепиться за последнее, что помню. Гараж. Лужа у верстака. Толя кричал что-то с другого конца, не расслышал. Нога в воде, и дальше — рывок, от которого свело челюсть, и запах палёной проводки, и бетонный пол, несущийся навстречу. Боль была такая, что казалось, она останется со мной навсегда, въестся в кости. Сейчас в теле нет ничего похожего, ни ожога, ни ломоты в суставах, только странная лёгкая оглушённость, будто после долгого сна в неудобной позе. Проверяю ладонь, ту самую, которой держался за мокрый кабель, — кожа чистая, без следа.

Между гаражом и этим полем — провал. Не темнота, которую помню при падении, а просто ничего, пустой лист, как будто вырвали страницу из книги и склеили края так аккуратно, что швов не видно.

И в этой пустоте, там, где должна быть хоть какая-то мысль, вдруг проступает ощущение — без слов, без картинки, просто сухая зарубка где-то под лбом, как цифра, вытатуированная изнутри черепа: первый уровень.

Не голос. Никто мне этого не сказал. Просто знание берётся из ниоткуда и садится в голову ровно, как ключ в замок, будто оно всегда там было, просто я раньше не смотрел в ту сторону. Первый уровень. Чей? Мой. Откуда я это знаю? Не знаю. Знаю — и всё.

Трогаю лоб, будто там можно нащупать трещину, через

которую это просочилось. Ничего, кроме испарины.

— Так, — говорю вслух, и собственный голос звучит слишком громко среди этой тишины, без привычного гула машин, без капель с жестяной крыши. — Так, спокойно.

Оглядываюсь в поисках хоть чего-то знакомого. Асфальта нет. Проводов нет. Нет ни забора гаражного кооператива, ни горы покрышек у соседнего бокса, ни даже намёка на дорогу. Вокруг — поле этой жёсткой сизой травы, которое тянется до самого горизонта, и больше ничего: ни столба, ни дерева, ни крыши. Ветер идёт широкими полосами, пригибая стебли волнами, и в этом ветре нет городского запаха пыли и выхлопа — только та же пряная сладость земли и что-то морозное, присланное издалека, будто за много километров отсюда лежит снег.

Проверяю карманы — глупо, по привычке, как будто телефон или зажигалка объяснят мне больше, чем трава под ногами. Карманы пустые. Не в смысле, что я что-то выронил — их просто нет, вместе с рабочей курткой, в которой я стоял у верстака. На мне что-то вроде грубой холщовой рубахи, не моей, и штаны из той же плотной ткани, и я даже не успеваю удивиться этому как следует, потому что сильнее бьёт другое: я не помню, как переодевался. Руки сами ощупывают пояс, живот, грудь — не ищу раны, просто хочу убедиться, что это тело ещё моё, что оно не предало меня где-то по пути.

Пробую подняться, но ноги не держат так, как должны, и

я сползаю обратно на траву, уже сидя, обхватив колени руками. Сижу так долго, слушая, как ветер гонит волны по полю, и жду — чего-то знакомого, звука мотора вдалеке, голоса Толи, скрипа ворот гаража. Жду будильника, который должен прозвенеть и вытащить меня из этого слишком подробного, слишком пахнущего и слишком холодного сна.

Будильника нет.

Светило так и висит на одном месте, не двигаясь, будто мир вокруг держит дыхание вместе со мной, и постепенно до меня доходит то, что до этой минуты не хотело укладываться в голове целиком: это не обморок. Не тот сон, что кончается резким вдохом и потолком спальни над головой. Я сижу в чужой траве под чужим небом, с чужим знанием о каком-то первом уровне, вживлённым в череп без спроса, и обратной дороги отсюда, кажется, попросту нет.

* * *

Рука сама лезет в карман — и натыкается на грубую ткань чужой рубахи, под которой нет ни одного привычного шва. Куртки больше нет, а с ней и всего, что было в её карманах: ключа от гаражного бокса с отломанным зубцом, горсти мелочи, которую я собирал на обед. Пальцы всё равно обшаривают пояс, бёдра, грудь — память тела упрямее памяти головы, она ищет вес ключа там, где его быть не может. Ключ остался в другом мире, вместе с верстаком, с Толиком, с лужей под проводом. Здесь у меня нет ничего, кроме этой рубахи и травы под пальцами.

Сижу ещё немного, глядя в одну точку, а потом вспоминаю про ту штуку в голове — про зарубку, про «первый уровень». Закрываю глаза, будто это поможет сосредоточиться, хотя всё равно не знаю, на чём именно. Просто тяну внимание внутрь, туда, откуда вылезло то знание, — и натыкаюсь на что-то ещё.

Оно похоже на лист бумаги, который держат передо мной в темноте: чувствуется его край, его ровные линии, но ни одна буква не проступает. Я будто стою перед формуляром, где сверху жирно выведено «уровень: 1», а дальше — пустые графы, одна под другой, без подписей. Не знаю, сколько их. Пробую всмотреться пристальнее — ничего не происходит, кроме того, что голова начинает ныть, как от слишком долгого взгляда на мелкий шрифт.

— Так. Статы, — говорю вслух, и сам слышу, насколько глупо это звучит посреди пустого поля. — Характеристики. Покажи характеристики.

Тишина. Ветер гонит волну по траве, где-то вдалеке скрипит — то ли стебель о стебель, то ли вовсе показалось. Лист в голове не шевелится, пустые графы остаются пустыми, никакой подсказчик не спешит нашёптывать мне, что делать дальше. Пробую другое слово:

— Инвентарь.

Ничего. Пробую «силу», «здоровье», даже по-дурацки — «помощь», как будто где-то рядом сидит оператор горячей линии и ждёт кодового слова. Молчание такое плотное, что в

нём слышно собственное дыхание и стук крови в ушах. Никто не отвечает. Никакого голоса свыше, никакой подсказки мелким шрифтом в углу зрения, никакого туториала с мигающей стрелкой — ничего из того, что, по идее, должно появляться, если уж тебе выдали «уровень» вместе с пустым листом вместо документов.

Вот тут до меня доходит — не резко, а медленно, как доходит холод через мокрый ботинок, — что инструкции не будет. Никто не придёт и не объяснит правил. Здесь просто есть я, трава, небо не на своём месте и ощущение первого уровня, засевшее в черепе без спросу, как заноза, которую не вытащить. Всё остальное мне придётся выяснять самому, на собственной шкуре, и шкура эта, судя по всему, единственное, что у меня осталось целым.

Пробую встать. Ноги затекли сильнее, чем я думал, — будто просидел на них не минуту, а час, — и первые секунды я стою, покачиваясь, вцепившись одной рукой в воздух рядом с собой, хотя опереться там не на что. Колени гудят, в ступнях покалывает, когда кровь возвращается в пальцы. Жду, пока это пройдёт, и только потом поднимаю голову, чтобы оглядеться уже стоя, а не сидя — так хотя бы видно дальше собственных колен.

Горизонт со всех сторон одинаково пуст. Ни дороги, ни столба, ни крыши — только пологие холмы, покрытые той же жёсткой сизой травой, перекатывающиеся один за другим, будто кто-то бросил на землю мятую простыню. С одной сто-

роны холмы чуть выше, почти сливаются с небом; с другой — опускаются в низину, где трава темнеет и переходит во что-то более плотное. Присматриваюсь — это лес, хотя слово «лес» тут, кажется, тоже не совсем подходящее. Деревья стоят слишком ровно, почти как частокол, кроны у них не круглые и не острые, а сплющенные сверху, будто придавленные чем-то тяжёлым. До леса идти долго — может, час, может, три, я давно разучился на глаз определять расстояние по степи, а уж по этой траве и подавно.

Больше ничего нет. Ни дыма над холмами, ни звука, похожего на человеческий, ни единой приметы, что где-то поблизости живёт хоть одна живая душа. Стоять на месте и ждать, что это решится само, — такая же бессмыслица, как звать несуществующие характеристики вслух. Лес — хотя бы направление. Хоть что-то, что можно назвать целью, пока других целей не придумано.

Делаю первый шаг, и трава хрустит под ногой жёстче, чем должна бы, оставляя на штанине мутный зеленоватый след. Оглядываюсь напоследок — туда, где сидел, — будто в траве должен остаться отпечаток моей прежней жизни, вмятина в форме гаража и будильника. Вмятины нет, только примятый круг стеблей, который через минуту выпрямится и забудет, что я здесь вообще был.

Иду к лесу, и единственное, что держится в голове яснее любой мысли, — ровная, спокойная зарубка под черепом: первый уровень. Больше ничего мне это не объясняет. Но

хотя бы не отпускает.

* * *

Лес не приближается так быстро, как хотелось бы: холмы обманывают расстояние, каждый следующий гребень открывает за собой ещё один, точно такой же, и только часа через три сизая трава под ногами начинает редеть, уступая место чему-то более похожему на подлесок. К этому времени голод уже не напоминание, а требование. Сначала это было просто пустое место под рёбрами, с которым я мирился ещё в гараже — не до обеда, потом не до ужина. Теперь это тупая, настойчивая боль, которая вцепляется изнутри и не отпускает ни на шаг, напоминая о себе с каждым вдохом.

Я пробую думать о чём-то другом. Не получается. Голод в чужом мире устроен точно так же, как в своём, — он не делает скидок на то, что я не понимаю, где нахожусь.

На опушке, там, где трава окончательно сдаётся кустарнику, нахожу заросли с мелкими тёмно-синими ягодами. Кусты невысокие, колючие, листья узкие и жёсткие, будто вырезаны из жести, а ягоды висят гроздьями, плотными, с восковым налётом — так и просятся в рот. Я замираю перед ними дольше, чем следовало бы человеку, у которого внутри всё воет от голода.

— Ну и что мне с вами делать, — говорю вслух, просто чтобы услышать собственный голос в этой тишине.

Ягоды молчат. Никакой подписи под кустом, никакой зарубки в голове рядом с «первым уровнем», которая подска-

зала бы: съедобно или нет. Я пытаюсь вспомнить хоть что-то из прежней жизни — передачи про выживание, у которых по телевизору смотрел краем глаза, пока ел бутерброд на кухне. Там вроде говорили: если птицы клюют — можно. Если сок ягоды оставляет пятно, похожее на кровь, — нельзя. Что-то в этом духе. Ни одной птицы рядом нет, проверить не на ком.

Руку протягиваю и отдёргиваю дважды. С одной стороны — яд, судороги, смерть в одиночестве среди чужой травы, никто даже не узнает, как это случилось. С другой — голод, который уже не просто мешает, а размывает мысли, делает шаги короче и тяжелее. Я стою перед кустом, как перед развилкой, где оба пути ведут вниз, просто с разной скоростью.

— Съем — может, сдохну. Не съем — точно сдохну, только дольше, — бормочу себе под нос, и от звука собственного голоса почему-то становится чуть спокойнее.

Срываю несколько ягод, катаю между пальцами. Кожица плотная, под ней — мягкая мякоть, сок окрашивает подушечки пальцев в густой фиолетовый. Запах слабый, кисловатый, ничего пугающего. Закрываю глаза и кладу одну в рот.

Вкус вяжущий, резкий, напоминает недозрелую смородину — ту самую, которую в детстве рвали с куста у соседского забора и тут же сплёвывали, потому что оскомина сводила челюсть. Ничего похожего на горечь или жжение, которых я боялся. Глотаю, замираю, слушаю себя изнутри так внимательно, будто можно услышать яд, если он решит начать действовать.

Секунды тянутся медленно. Считаю удары сердца — раз, два, три, — потому что больше считать нечего, часов нет, а время здесь течёт как-то неправильно, то ли быстрее, то ли медленнее, чем должно. На пятидесятом ударе ничего не происходит: ни тошноты, ни жжения в горле, ни головокружения. Просто кисловатый привкус во рту и голод, который чуть отступил, но не ушёл.

Жду ещё немного, уже не считая, просто вслушиваясь в тело. Руки не дрожат сильнее обычного. Живот не скручивает. Дышится ровно. То ли повезло, то ли ягоды и правда безобидны, то ли яд в них такой, что действует не сразу, а через час или день, когда я уже уйду далеко и не свяжу одно с другим. Об этом думать не хочется.

Срываю ещё горсть, уже смелее, набиваю карман куртки — тот самый, где лежит ключ от гаража и мелочь, которой тут цена ноль. Горсть за горстью, пока пальцы не становятся фиолетовыми по самые костяшки, а под кустом не остаётся заметной прорехи в листве.

Всё это время где-то на краю сознания я жду хоть какого-то отклика от того пустого листа, что завис рядом с мыслями с самого пробуждения. Жду, что вместе с глотком появится хоть строчка, хоть цифра, хоть ощущение, будто что-то засчиталось — так же, как засчиталось ощущение первого уровня. Ничего. Лист остаётся таким же немым, как был, — ни отметки о еде, ни подсказки, съедобно оно было или нет, ни намёка, прибавилось ли во мне хоть что-то за эти полчаса

страха перед кустом.

Я совсем один в этой догадке, и от этого голод, который чуть отступил, тут же возвращается с другой стороны — уже не в животе, а где-то под рёбрами, ближе к сердцу. Если здесь никто не подскажет, съедобна ягода или нет, живу я дальше или нет — тогда, выходит, и во всём остальном придётся разбираться так же: на ощупь, по чужому кусту, по собственному страху, без единой зарубки в голове, кроме той, что уже есть.

Поднимаюсь, отряхиваю колени и иду дальше, вдоль опушки, туда, где деревья смыкаются плотнее, а свет между ними становится реже.

* * *

Шорох сзади, в подлеске, короткий и сухой, как будто кто-то смял ворох сена одним движением. Я не успеваю обернуться полностью — тело разворачивается само, быстрее, чем мысль добирается до слова «опасность».

Зверь вылетает из зарослей низко над землёй, шерсть на загривке торчит колючими иглами, как у взбесившегося ежа, только весь он размером с крупную собаку, а пасть распахнута так широко, что кажется, будто голова раскалывается надвое. Зубы мелкие, частые, в два ряда. Глаз почти не видно за шерстью, только два влажных блика.

Отшатываюсь, нога подворачивается на кочке, и я чуть не сажусь на землю, но рука уже шарит рядом сама, без команды — хватает первое, что попадается под пальцы. Толстый сук,

обломанный у комля, шершавый, тяжелее, чем кажется на вид. Поднимаю его перед собой обеими руками, как будто это что-то может изменить.

— Пошёл… пошёл отсюда! — голос срывается на хрип, звучит жалко даже для моих ушей.

Тварь не слушает. Она делает выпад, низкий, стелющийся, метя в голень, и я бью наугад, без техники, без замаха — просто опускаю сук сверху вниз, туда, где должна быть голова зверя через долю секунды. Попадаю. Удар отдаётся в ладонях, сухой треск дерева о что-то твёрдое, и зверь взвизгивает, пронзительно, почти по-человечески, отшатывается на пару шагов назад.

Он не убегает. Садится на задние лапы, мотает головой, будто вытряхивает из ушей звон, и смотрит на меня заново — уже не как на лёгкую добычу, которую можно заглотить с одного укуса, а как на что-то, с чем придётся повозиться.

И в этот момент, где-то на самом краю сознания, рядом с тем немым пустым листом, который висит у меня в голове с самого пробуждения, мелькает что-то. Не цифра. Не слово. Даже не образ. Просто смутное ощущение — задето, — будто кто-то поставил невидимую галочку и тут же стёр её, не дав разглядеть. Моргаю, пытаюсь ухватиться за это чувство, но оно уже исчезло, как круги на воде через секунду после камня.

Тварь рычит, низко, утробно, пригибается ещё ниже к земле. Я вижу, как подрагивают мышцы под шкурой на пе-

редних лапах, готовясь к новому броску, и почему-то — сам не знаю откуда эта мысль берётся — понимаю: у неё тоже есть какой-то свой запас, свой счёт сил, прочный или нет. Так же, как у меня есть уровень, которого я не вижу и не понимаю. Только читать её счёт я не могу, нет у меня для этого ни глаз, ни знания. Остаётся одно — следить за тем, как она двигается, насколько уверенно, насколько быстро, и по этому гадать, сколько ещё ударов она выдержит и сколько выдержу я.

— Ну давай, — шепчу, сам не зная зачем, то ли себе, то ли ей. — Давай же.

Зверь прыгает снова, на этот раз целясь выше, в живот, и я успеваю только выставить сук горизонтально, как палку поперёк забора. Удар приходится вскользь, по плечу, боль простреливает до локтя, но тварь отлетает в сторону, кувыркается через бок и вскакивает тут же, отряхиваясь.

Несколько секунд мы стоим друг напротив друга. Я дышу через раз, ладони вспотели так, что сук того и гляди выскользнет. Тварь дышит тоже тяжело, бока ходят ходуном, из приоткрытой пасти капает что-то тягучее на траву.

А потом она просто… передумывает.

Разворачивается резко, одним движением, и ныряет обратно в подлесок, туда, откуда появилась, с таким же сухим шорохом, с каким пришла. Треск ломающихся веточек удаляется, становится тише, и через несколько мгновений вокруг снова тихо — только ветер в кронах и моё собственное

сердце, бухающее где-то в горле.

Я остаюсь стоять, не опуская сук, будто он всё ещё может понадобиться в следующую секунду. Пальцы побелели, костяшки сведены так, что ломит суставы. Плечо гудит в такт пульсу, там, где пришёлся скользящий удар, но кожа, кажется, цела, крови нет.

Пустой лист в голове молчит так же, как молчал всё это время. Ни строчки, ни отметки, ни даже того смутного «задето», которое мелькнуло на секунду и пропало. Будто его и не было вовсе, будто я всё придумал от страха.

Опускаю сук только тогда, когда ноги перестают дрожать настолько, чтобы хоть как-то идти. Оглядываюсь на кусты, где скрылась тварь, потом на пятно примятой травы, где всё произошло — и впервые по-настоящему понимаю, что в этом мире меня может убить что угодно, в любой момент, без предупреждения, без правил, которые я мог бы прочитать заранее.

Сук не выпускаю из рук. Теперь это не просто палка. Это единственное, что у меня есть.

* * *

Солнце — чужое, неправильного цвета солнце — ещё не село до конца, когда холод начинает кусать по-настоящему. Воздух густеет, становится плотным и колючим, будто кто-то выкрутил невидимый вентиль и выпустил в долину всю зиму разом. Куртка моя осталась в гараже, вместе с бетонным полом, вместе с лужей и проводом. На мне только ру-

башка, пропотевшая за день ходьбы и схваток, и она греет не лучше газеты.

Костра у меня нет. Спичек у меня нет. Из всего имущества — сук, обтёртый до блеска ладонями, да ключ от гаража в кармане, бесполезный здесь, как сама мысль о гараже. Оглядываюсь в поисках хоть какого-то укрытия и нахожу дерево пониже по склону, с толстыми, выпирающими из земли корнями — между двумя из них прогал, достаточно глубокий, чтобы забиться и спрятать спину от ветра.

Забираюсь туда, подтягиваю колени к груди, сук кладу поперёк, прижимая его локтем, будто он может согреть так же, как защитить. Руки уже не гнутся толком, пальцы деревенеют, и я сую их под мышки, по одной, по очереди, пытаясь хоть немного сохранить тепло, которого и так почти нет.

Темнота наваливается быстро, без сумерек, без перехода — будто кто-то щёлкнул выключателем. Ни луны я не вижу, ни звёзд, непохожих на привычные, — просто чернота, плотная, с редкими проблесками где-то очень высоко, в которых не узнаю ни одного созвездия.

Начинаю перебирать всё по порядку, как будто если выстроить события в ровную цепочку, где-то в середине найдётся трещина, через которую можно будет провалиться обратно. Провод. Он торчал из распределительного щитка ещё с прошлой недели, я откладывал ремонт, потому что заказов было слишком много, а рук — слишком мало. Лужа под верстаком натекла от прохудившейся крыши. Я наступил, пото-

му что торопился, потому что смена и так тянулась двенадцатый час, потому что думал о чём-то совершенно постороннем — кажется, о том, что надо заплатить за комнату до пятницы.

А потом — обрыв. Чернота без картинки, без звука, без времени. И на другом её конце — трава не той формы, небо не того цвета, и это ощущение внутри черепа, тупое и настойчивое: первый уровень. Зарубка, которую никто не объяснил.

Пытаюсь представить утро. По-настоящему пытаюсь, зажмурившись до цветных пятен под веками: вот я открываю глаза, надо мной не ветки, а потолок гаража, пятно от протечки в форме узнаваемого пьяного медведя, вот слышу, как Толик — сменщик, вечно жующий жвачку с запахом гудрона, — гремит ключами у соседнего подъёмника и ругается, что я опять вырубился на обеде.

Картинка держится секунды три, не больше. Потом расползается, как мокрая бумага, и сквозь неё снова проступают жёсткие стебли под боком и холод, забирающийся под рубашку. Я открываю глаза — и вижу те же корни, ту же черноту, то же отсутствие всего, к чему привык.

Не верю. Впервые признаюсь себе в этом честно, не как в панической мысли, мелькнувшей и забытой, а как в факте, который придётся теперь носить с собой. Не будет никакого гаража завтра. Не будет Толика с его жвачкой. Проём в пустоту, через который меня сюда затащило, закрылся так же

беззвучно, как открылся, и я не знаю даже, в какую сторону его теперь искать.

Голод подкатывает новой волной, глухой и давящий, несмотря на ягоды, съеденные днём, — их было слишком мало, чтобы заткнуть дыру под рёбрами надолго. Холод пробирается через подошвы ботинок, через швы рубашки, через каждую щель, какую находит. И поверх всего этого — тишина там, где должен быть хоть какой-то ответ: ни голоса, ни подсказки, ни того самого пустого листа, который упрямо не хочет заполняться ни единой строчкой, сколько его ни зови.

Я один. Без клана, о котором даже не знаю, что это такое. Без имени, которое здесь хоть что-то значило бы. Без единой подсказки, что делать с этим первым уровнем, кроме как выживать от одного рассвета до следующего, как получится.

Веки тяжелеют не от сна, а от какой-то вязкой, всепоглощающей усталости, в которой тело просто отказывается держать себя дальше. Проваливаюсь не в сон — в его подобие, рваное, с острыми краями, где холод то отступает, то снова впивается в кости. Где-то на границе этого забытья, то ли наяву, то ли уже в полусне, мне чудится звук.

Шаги. Хруст сухой травы под чем-то тяжёлым — но ровный, мерный, слишком размеренный для зверя, который крадётся или гонится. Будто кто-то идёт, не таясь, не спеша, уверенно зная, куда ступает даже в такой темноте.

Пальцы сами стискивают сук крепче. Открыть глаза или нет — решить не успеваю, сон тянет вниз сильнее, и хруст

шагов остаётся где-то на самом краю слуха, то ли приближаясь, то ли удаляясь, то ли вовсе существуя только у меня в голове.

Глава 3. Девушка с клинком из кости

Шаги останавливаются. Не затихают постепенно, как бывает, когда человек замедляется перед сном или усталостью, а обрываются разом, будто того, кто шёл, кто-то выключил. Прямо надо мной.

Сердце ухает куда-то вниз, и я ещё не успеваю решить, открывать глаза или притвориться мёртвым пнём среди корней, как что-то холодное и твёрдое касается кожи под подбородком. Не металл — я бы узнал этот звон, этот особый морозный укол стали. Это что-то более шершавое, более сухое, с запахом, который почему-то напоминает мне старую разделочную доску на кухне у бабушки. Кость.

Открываю глаза медленно, по миллиметру, как будто резкое движение век способно спровоцировать удар. Надо мной — лезвие, бледное в темноте, вырезанное из чего-то крупного, может, из клыка, может, из ребра зверя размером с автобус, с зазубринами по одному краю, отполированное до блеска с другого. Оно лежит у самого горла, ровно там, где кожа тоньше всего, и чуть подрагивает — не от неуверенности руки, а, кажется, от того, что рука давно привыкла держать оружие в полной неподвижности и сейчас просто ждёт команды.

За клинком — лицо. Темнота мешает разглядеть его целиком, но я вижу глаза, прищуренные, внимательные, и то, как в них нет ни капли испуга, только оценка, быстрая и холодная, как у человека, который взвешивает мясную тушу на рынке.

— Из какого ты клана?

Голос женский, низкий для женщины, с какой-то потёртой хрипотцой, будто им пользовались часто и на морозе. В вопросе нет любопытства. Есть только проверка, и я понимаю: ответ неправильный может стоить мне перерезанного горла раньше, чем я успею понять, в чём ошибся.

— Я... — голос садится, сухой после дня без воды толком, и я откашливаюсь, стараясь не дёргать шеей слишком резко. — Я не из клана. Я вообще не отсюда.

— Не отсюда, — повторяет она, и в голосе проскальзывает что-то, похожее на насмешку, но настороженность в глазах не уходит ни на волос. — Что ты делаешь один в ночном лесу, без огня, без клейма, с палкой вместо оружия?

Палка. Мой сук, зажатый в руке, которую я боюсь даже пошевелить, лежит рядом с бедром, бесполезный, как и всё, что у меня было весь этот бесконечный день.

— Выживаю, — говорю я, и получается честнее, чем я рассчитывал. — Плохо получается, если честно.

Она молчит секунду, явно не ожидавшая такого ответа, и клинок у горла не двигается ни на волос, но давление чуть слабеет, будто рука за ним на мгновение задумалась.

— Руки покажи. Медленно.

Поднимаю ладони вверх, раскрытые, пустые, стараясь двигаться так плавно, как только могу, чувствуя, как каждая мышца в плече ноет от вчерашнего ушиба и от напряжения разом. Сук так и остаётся лежать у бедра, никем не тронутый.

— Вот, — говорю, — только это. И то не поднял бы вовремя, если бы вы решили резать.

— Я заметила, — в голосе снова та же сухая насмешка, но теперь к ней примешивается что-то вроде холодного одобрения: не за храбрость, а за то, что не пытаюсь выкрутиться враньём. Клинок отодвигается на пару пальцев от кожи, хотя из руки не исчезает, и она наконец позволяет себе опуститься чуть ниже, ближе, разглядывая меня уже не только как угрозу, но и как предмет, который нужно опознать.

Чужие глаза скользят по рубахе, задерживаются на вороте, на том, как ткань сидит криво, на штанах, которые тоже не мои и топорщатся в неправильных местах. Потом — на пояс. Пустой пояс, без пряжки с меткой, без кошеля, без ножен, без единого знака, который хоть что-то сказал бы ей обо мне.

— Ни клейма, ни знака дома, — бормочет она, не то себе, не то мне, и в голосе проступает морщинка недоумения, которую я слышу раньше, чем вижу на её лице. — Одежда не твоего кроя. Руки не знают оружия, — она чуть поводит клинком, будто проверяя, вздрогну ли я снова, — а сам сидишь тут, посреди ничейных земель, живой, хотя по всем

приметам тебя давно должны были сожрать.

— Мне просто повезло, — говорю, не уверенный, правда это или нет, учитывая ушибленное плечо и голод, выгрызающий нутро.

Она хмурится — не зло, скорее озадаченно, как человек, пытающийся сложить картинку из кусочков, которые упорно не подходят друг к другу. Клинок из кости так и остаётся на весу между нами, не опускается в ножны, но и не поднимается снова к горлу. Шаткое, неудобное равновесие, в котором я боюсь выдохнуть громче, чем необходимо, чтобы случайно не нарушить его в неправильную сторону.

— Без клана, без имени, которое здесь хоть кто-то узнал бы, — говорит она тихо, скорее для себя, взвешивая каждое слово так же, как взвешивала бы монету на подделку. — Или ты врёшь складно, или ты самый бестолковый человек, какого я видела за зиму.

Я молчу, потому что любой ответ сейчас кажется одинаково опасным, и просто смотрю на неё снизу вверх, на белое лезвие, замершее между жизнью и всем остальным, и жду, в какую сторону она его повернёт.

* * *

— Встал, — говорит она, и в голосе ни капли вопроса, только приказ, короткий, как удар. — Медленно. От дерева отойди.

Поднимаюсь, упираясь здоровым плечом в кору, стараясь не делать резких движений, которые она могла бы прочитать

неправильно. Земля под ногами ещё хранит форму моего тела, вмятую за ночь, и когда я встаю, по спине пробегает холод оттого, что теплого места больше нет. Костяной клинок следует за мной, не отстаёт ни на дюйм, будто привязан невидимой нитью к моему горлу.

Отхожу на три шага, останавливаюсь там, где она, видимо, хочет меня видеть, на открытом месте, без корней за спиной, без тени, в которую можно было бы шагнуть и исчезнуть.

— Лира, — говорит она вдруг, и я не сразу понимаю, что это не вопрос ко мне, а представление. Произносит коротко, будто бросает монету на стол: вот, возьми, больше не получишь. — Теперь ты.

— Марик, — отвечаю, и звук собственного имени кажется мне странно хрупким в этом воздухе, пахнущем сырой листвой и чем-то ещё, горьковатым, незнакомым.

Она хмурится, переспрашивает одними губами, будто пробует слово на зуб и не находит в нём знакомого вкуса.

— Марик, — повторяет, с чуть другим ударением, и качает головой, точно смирившись с тем, что имя так и останется чужим. — Не слышала такого ни в одном доме отсюда до самого Хребта.

Клинок по-прежнему между нами, но она держит его чуть иначе теперь, не для удара, а для того, чтобы напоминать: равновесие ещё не кончилось.

— Откуда идёшь?

— Не знаю, — говорю честно, потому что любая выдумка

развалится у неё на первом же уточняющем вопросе, а от правды хуже уже не будет.

— Отряд твой где?

— Нет отряда.

— Клеймо.

— Нет клейма.

Каждый ответ она ловит и взвешивает, и с каждым разом её лицо становится не мягче, а строже, как будто я методично отбираю у неё все удобные объяснения, оставляя одно неудобное.

— Оружие у тебя — палка, — говорит она, и в голосе впервые проскальзывает что-то похожее на издёвку, хотя под ней — настоящая тревога. — Одежда с чужого плеча. Ни ножен на поясе, ни лука за спиной, ни амулета на шее. Ты так и ходишь голым среди зверья, или просто недавно решил, что жить тебе надоело?

— Я не выбирал, — отвечаю, и получается глупо, беспомощно, но иначе не скажешь. — Я очнулся здесь. Вчера. На этой самой земле, — киваю в сторону примятой травы за спиной, — без одежды, без памяти о дороге сюда. Был в другом месте, а потом темнота, а потом трава не та и два солнца, которых быть не должно.

Жду, что она рассмеётся мне в лицо, но смех не приходит. Вместо этого лицо её темнеет, будто я произнёс что-то, что ей совсем не нравится слышать, и клинок в руке чуть дрожит, впервые за весь разговор, не от усталости, а от того, что

держащая его рука на миг забыла о цели.

— Бред, — говорит она тихо, скорее себе, чем мне, — звучит как бред сумасшедшего или пьяницы.

— Я понимаю, как это звучит, — говорю, — но у меня нет лучшего объяснения.

Она долго молчит, разглядывая меня так, как разглядывают находку на тропе: не то, чтобы ждать от неё угрозы, просто непонятно, что с ней делать дальше. Потом переводит взгляд куда-то в сторону, за мою спину, в темноту между деревьями, будто там, в черноте, спрятан ответ на вопрос, который она себе не задаёт вслух.

— Сила в тебе есть? — спрашивает вдруг, и это звучит почти как проверка, вопрос на засыпку. — Хоть что-то почувствовал, когда зверь на тебя вчера кинулся?

Думаю о том коротком ощущении в бою, о мимолётном «задето», мелькнувшем где-то на краю сознания и тут же пропавшем без следа, без объяснения, без продолжения.

— Что-то было, — говорю осторожно. — Не знаю, как назвать.

— Первый уровень, не выше, — бормочет она, не как вопрос, как диагноз, и качает головой с таким видом, будто только что подтвердила худшее из своих предположений. — Один, без клана, без оружия, с силой едва на то, чтобы муху прихлопнуть, в ничейном лесу, где по ночам бродит то, что я упоминать не стану, чтобы не накликать. Таких, как ты, тут долго не живут, Марик без клана. Седмицы не протянешь,

если повезёт больше, чем прошлой ночью.

Слова падают ровно, без нажима, но в них больше веса, чем в любом крике, и я чувствую, как по спине снова пробегает холод, уже не от ночного воздуха.

— Тогда, выходит, мне нужна помощь, — говорю, стараясь, чтобы голос не дрогнул слишком заметно.

Она долго смотрит на меня, потом на клинок в своей руке, будто советуется с ним, а не со мной, и наконец медленно, нехотя опускает его, хотя в ножны так и не прячет, оставляет у бедра, готовый подняться снова в любой момент.

— До Прибрежья доведу, — говорит она наконец, и в голосе звучит не доброта, скорее расчёт человека, который взвесил риски и нашёл их терпимыми. — Дальше сам. И спать я буду с клинком под рукой, пока не узнаю о тебе больше, чем ты сказал за сегодня. Понял меня?

— Понял, — говорю, и впервые за долгое время в груди шевелится что-то похожее на облегчение, хрупкое, недоверчивое, но настоящее.

* * *

Рассвет приходит сюда не золотом, а медью: небо над кронами загустевает тусклым ржавым светом, и в нём ни намёка на румянец, который я привык видеть дома. Лира идёт впереди, ровным шагом, будто тропа ей знакома до последнего корня, а я тащусь следом, опираясь на сук и стараясь ставить ноги в её же следы — так хоть немного легче.

Голод возвращается раньше, чем я готов это признать.

Вчерашние ягоды давно переварились без остатка, и теперь внутри будто сжимается кулак, который с каждым шагом стискивается туже. Колени подрагивают без причины, в глазах на миг темнеет, и я ловлю себя на мысли, что считаю шаги до следующего дерева — лишь бы было, на что опереться, если ноги откажут.

— Отстаёшь, — бросает Лира, не оборачиваясь.

— Стараюсь, — выдыхаю и тут же спотыкаюсь о корень, еле удерживаюсь на суке.

Она останавливается, не поворачиваясь полностью, лишь через плечо окидывает меня взглядом — быстрым, цепким, тем же, каким вчера ночью оценивала мой пустой пояс. Что-то в её лице чуть смягчается, хотя губы остаются поджаты.

— Серый ты, как зола, — говорит она без всякого сочувствия в голосе, просто как факт. — Когда последний раз ел?

— Ягоды. Вчера, кажется. Не знаю, сколько прошло с тех пор.

Она хмыкает, роется в сумке на поясе, не замедляя шага, и бросает мне — не протягивает, именно бросает, коротко и без лишних слов. Я ловлю неуклюже, едва не роняю: кусок вяленого мяса, тёмного, жёсткого на вид, и рядом — плотная лепёшка, пахнущая дымом и чем-то травяным.

— Ешь на ходу. Останавливаться тут не будем.

Я не заставляю себя упрашивать. Рву мясо зубами, почти не разжёвывая, глотаю кусками, которые дерут горло, и лепёшку крошу так торопливо, что половина просыпается на

тропу. Голод оказывается сильнее любого стыда — только когда во рту остаётся последняя корка, я замечаю, что Лира смотрит на меня, слегка прищурившись, с тем выражением, с каким смотрят на лошадь перед покупкой: годится ли тянуть телегу, или через день падёт.

— Как волк после зимы, — говорит она, и в голосе не одобрение, а что-то вроде расчёта. — С таким в дороге возни больше, чем пользы.

Мне хочется возразить, но рот ещё набит, и я просто молчу, глотая последний кусок и чувствуя, как по телу расползается слабое, неуверенное тепло — не сила, но хоть что-то взамен прежней дрожи.

— Спасибо, — говорю наконец, вытирая рот тыльной стороной ладони. — Правда. Я бы не…

— Не благодари, — обрывает она коротко. — Я не корми тебя ради тебя самого. Мёртвый груз я на себе не потащу, а падать ты начнёшь уже через час, если не поешь.

Это звучит холодно, но я слышу в этом и расчёт, и что-то похожее на заботу, спрятанную так глубоко, что сама Лира, наверное, не признала бы её, спроси я вслух. Идём дальше, и тропа начинает петлять между деревьями с корой, похожей на чешую, а под ногами всё чаще попадаются борозды, будто что-то крупное волочилось здесь, не разбирая пути.

— Эта тропа, — говорю, стараясь, чтобы голос звучал ровно, — она опасная?

Лира не оборачивается, но шаг её чуть замедляется, будто

она прислушивается к чему-то за кронами, чего я не слышу.

— Опасная для всех, — отвечает она. — Тут хватает тварей даже на мою силу. А для тебя — это верная смерть, с суком вместо меча и пустым поясом.

— Насколько верная? — пытаюсь уточнить, и сам слышу, как глупо это звучит, но мне нужно понять хоть что-то конкретное, хоть одну цифру, за которую можно уцепиться.

— Настолько, что я бы на твоём месте шла молча и под ноги смотрела, а не болтала, — отрезает она, и всё же через пару шагов добавляет, неохотно, будто через силу: — Тут водится зверьё посерьёзнее того, что на тебя вчера кинулось. Против таких твой первый уровень — что муха против сапога.

Я цепляюсь за эти слова, за саму мысль, что сила здесь измеряется, что у неё есть название, которое можно произнести вслух, а не просто смутное ощущение «задето» на краю сознания.

— А как её узнать, эту мерку? Уровень то есть. Я чувствую что-то, но не понимаю, что это и откуда взялось.

Лира резко оборачивается, и в глазах у неё мелькает что-то похожее на раздражение, смешанное с усталостью человека, которому слишком рано задают слишком много вопросов.

— Я тебе не наставница в школе магов, — говорит она жёстко. — Такое за так не рассказывают, даже своим, не то что чужаку без клана, которого я подобрала из жалости. Дой-

дём до Прибрежья — там найдётся, у кого спросить. А от меня больше не жди.

Голос у неё твёрдый, без тени извинения, и я понимаю: продолжать расспросы сейчас — верный способ разрушить то немногое доверие, что мы с таким трудом выстроили за одну ночь. Закрываю рот, киваю и снова перехватываю сук поудобнее, подстраиваясь под её шаг. Впереди, за деревьями, тропа ныряет в низину, затянутую утренним туманом, и я иду за Лирой молча, слушая, как под её сапогами хрустят мелкие ветки, а под моими — предательски громко, выдавая каждую неловкую ногу.

* * *

Туман в низине расступается неохотно, клочьями цепляясь за кусты, и тропа выводит нас к оврагу, через который переброшен мосток из трёх брёвен, таких тёмных и мокрых, что больше похожи на кости какого-то огромного существа, вросшие в землю. Лира останавливается у края, не торопясь ступать, и концом костяного клинка тычет в ближнее бревно. Дерево отзывается глухим чавкающим звуком.

— Гнилое, — говорит она, не оборачиваясь, и переходит ко второму бревну. Это держит лучше, но она всё равно давит на него несколько раз, проверяя, прежде чем сделать шаг.

Я подхожу ближе, и она тут же вскидывает руку ладонью назад, не глядя на меня.

— Стой здесь. Пойду первой. Если провалюсь, хоть бу-

дешь знать, по какой доске не ступать.

В этом нет шутки, по крайней мере, в голосе её не слышно ничего похожего на улыбку. Она ступает на мосток медленно, пробуя вес тела на каждой доске, прежде чем перенести следующую ногу, и клинок у неё в руке всё это время смотрит вниз, будто она готова воткнуть его в дерево, если оно начнёт уходить из-под ног.

Я жду на своём краю, сжимая сук обеими руками, и вдруг из глубины леса, откуда-то слева и сверху, долетает вой.

Звук тот же, что вчера заставил меня забиться под корни, низкий, с переливом, который не похож ни на один крик зверя, что я слышал в своей жизни, будто кто-то тянет расстроенную струну через горло размером с бочку. Он обрывается резко, и наступившая следом тишина давит сильнее самого воя.

Лира замирает на середине мостка, одна нога на весу. Я вижу, как напрягается её спина под кожаной курткой, как голова чуть поворачивается, ловя направление звука, будто у неё там, под спутанными тёмными волосами, спрятан отдельный орган для такого слуха. Она медленно опускает ногу на бревно, не издав ни звука, и так же медленно поднимает свободную руку назад, растопырив пальцы. Замри.

Я замираю. Дышать стараюсь через нос и тише, чем получалось когда-либо в жизни, хотя сердце колотится так, что кажется, его слышно отсюда до того места, откуда донёсся вой. Сук в руках сам собой стискивается крепче, ладони

вдруг становятся липкими, и я ловлю себя на мысли, что это не оружие, а просто палка, которую я поднял с земли, и если то, что воет там, за деревьями, решит выйти к оврагу, эта палка не сделает ничего, кроме как сломается о первый же удар.

Лира, не оборачиваясь, скашивает взгляд в мою сторону, и я ловлю этот взгляд на себе, на суке в моих руках, и во взгляде этом читается не страх, а что-то вроде усталого презрения, с каким смотрят на ребёнка, вооружившегося обломком ветки против грозы. Она ничего не говорит. Молчание в эту секунду тяжелее любого слова.

Время тянется так, что я успеваю пересчитать удары собственного пульса в висках: раз, два, три, десять, двадцать, — и вой не повторяется. Он уходит куда-то вбок, теряется среди шелеста листвы и дальнего треска веток, пока совсем не растворяется, оставив после себя только обычные лесные звуки: капель с листьев, скрип стволов, далёкий птичий клёкот где-то над кронами.

Лира выдыхает, и этот выдох у неё долгий, через зубы, будто она держала воздух в груди всё то время, что молчала.

— Ушёл, — говорит она, и в голосе звучит не облегчение, а констатация факта, как если бы речь шла о погоде. Она заканчивает переход через мосток и останавливается на том берегу, поворачиваясь ко мне. — Клановые земли кончаются в двух днях пути отсюда. Дальше — ничья земля. Кланы делят то, что можно поделить: воду, рудники, тропы. А тут

делят тварей. Всех, кто под руку попадётся.

Я осторожно ступаю на первое бревно, проверяя его так, как делала она, хотя получается у меня куда более нескладно, и бревно под ногой чуть проседает, будто вот-вот подастся.

— Это была одна из тех тварей, о которых ты говорила? Серьёзнее вчерашней?

— Не знаю, — отвечает она коротко. — Не видела. По голосу не скажу точно, да и не хочу проверять.

Я заканчиваю переход, стараясь не смотреть вниз, в черноту оврага, откуда тянет сырым холодом и чем-то вроде гнилой листвы пополам с землёй, и, оказавшись на той стороне, чувствую, как ноги предательски подрагивают, будто я прошёл не три бревна, а целую милю по канату.

Лира смотрит на меня ещё секунду, потом коротко кивает своим мыслям и трогается дальше по тропе. Но на этот раз что-то меняется: шаг у неё короче, не тот размашистый ход, который задавал темп всё утро и заставлял меня спотыкаться, пытаясь угнаться. Она идёт вровень со мной, чуть впереди, но не отрываясь, будто теперь, после этого воя в лесу, ей важнее знать, что я рядом, а не то, насколько быстро мы доберёмся до цели.

Я ничего не говорю по этому поводу, хотя замечаю, и замечаю ясно: что-то в равновесии между нами сдвинулось, пусть на волос, пусть незаметно для неё самой. Иду следом, стараясь ступать тише, и сук в руке теперь держу не так судорожно, хотя эхо того воя всё ещё стоит где-то глубоко под

рёбрами, и я знаю, что не забуду его ещё очень долго.

* * *

Солнце садится медленно, но верно, запутываясь в верхних ветках так, что свет становится рыжим и густым, как разведённый мёд. Я иду следом за Лирой, уже не считая, сколько часов прошло с того мостка через овраг, и в какой-то момент деревья расступаются, и между стволов проступают дерновые крыши — приземистые, заросшие мхом сверху, будто холмы сами решили стать домами.

Запах меняется первым: дым от очагов, навоз, что-то кислое, вроде закисающего молока. Я останавливаюсь невольно, вглядываясь в это первое за два дня свидетельство того, что в мире, кроме меня, зверей и Лиры, есть ещё люди, которые живут обычной жизнью — топят печи, держат скотину, ссорятся из-за ерунды.

Лира не ускоряет шаг к окраине. Наоборот, тормозит у последних деревьев, там, где лес ещё держит нас в тени, а поселение уже видно целиком: десятка два крыш, частокол пониже человеческого роста, дымки над трубами.

— Дальше одна, — говорит она, не оборачиваясь, будто разговаривает с частоколом, а не со мной.

— Почему?

— Потому что ты без клейма. — Она наконец поворачивается, и в её лице читается не раздражение, а что-то вроде расчёта, будто она второй раз за день взвешивает меня на внутренних весах и опять не может решить, сколько я ве-

шу. — Люди здесь привыкли встречать чужаков копьём, а не хлебом. Увидят пустой пояс, услышат, что ты не помнишь, откуда пришёл, — решат, что ты беглый или хуже. Могут и не разбираться, кто ты, а сразу выставить за частокол. Или не выставить.

Последние два слова она произносит тише, и я понимаю, что «не выставить» значит что-то похуже, чем просто ночёвка под открытым небом.

— А ты? Тебя пустят?

— Меня тут знают. — Она дёргает плечом, будто это не стоит даже обсуждения. — Ты — нет. Лучше тебе переждать здесь до утра. Сходишь в кусты, если что, не ходи ближе к частоколу, собаки у них злые и голодные.

Я смотрю на поселение ещё раз, на дымки, на крыши, такие обычные и домашние с виду, и чувствую совершенно детскую обиду, будто меня не пускают на праздник, куда я даже не был толком зван. Но спорить нечем: ни клейма, ни оружия по уму, ни единого довода, кроме того, что я голоден и устал.

Лира тем временем уже идёт в сторону, огибая тропу, и останавливается у покосившегося сарая, вросшего в землю углом, с дырявой дерновой крышей и дверью, которая держится на одной петле, а не на двух, как положено. Внутри, когда она толкает дверь ногой, обнаруживается ворох сена, старая разбитая телега без колеса и запах пыли вперемешку с мышиным.

— Переночуешь здесь. — Она кивает на сено, как хозяйка, показывающая гостю лучшую комнату в доме, хотя интонация у неё ровно противоположная. — Не разводи огонь, не ходи никуда, пока не рассветёт.

Она роется в сумке и достаёт ещё один кусок лепёшки, суёт мне в руки так резко, что я чуть не роняю, — не глядя, не произнося ни слова благодарности в свой адрес, которое я, может, и хотел бы услышать, но явно не дождусь.

— На утро, — говорит она. — Не съешь всё сразу, как в прошлый раз.

Я смотрю на лепёшку, потом на неё, и во мне вдруг поднимается совершенно нелепая в этой ситуации потребность убедиться, что я хоть что-то запомнил правильно за этот бесконечный день.

— Погоди… тебя ведь Лира зовут? Я не ослышался тогда, ночью?

Она смотрит на меня так, будто вопрос кажется ей странным — то ли потому, что ответ очевиден, то ли потому, что её редко переспрашивают о таких простых вещах.

— Лира, — повторяет она коротко, без всякой мягкости в голосе, и на этом явно считает тему закрытой.

Я киваю, повторяю имя про себя ещё раз, будто пытаюсь вбить гвоздь поглубже в память, чтобы не потерялось среди травы не той формы, двух солнц, воя из темноты и всего остального, что обрушилось на меня за эти сутки. Хоть что-то, за что можно держаться — чьё-то имя.

Лира уже разворачивается к выходу из сарая, и в проёме двери, подсвеченная закатом со спины так, что лицо её превращается в тёмный силуэт, она на миг замирает.

— Завтра решим, что с тобой делать, — говорит она, и в голосе нет ни обещания, ни угрозы, одна только усталая констатация, как итог длинного дня, который ей самой дался не легче, чем мне.

И уходит, не оглядываясь больше, в сторону поселения, где уже зажигаются редкие огни за частоколом, а сумерки сгущаются быстро, будто кто-то невидимый гасит мир по частям, начиная с верхушек деревьев.

Я остаюсь один в сарае, сжимая в руке лепёшку и прислушиваясь к тому, как её шаги становятся всё тише, пока совсем не растворяются среди других звуков поселения — лая собак, скрипа ворот, далёкого детского крика. Опускаюсь на сено, чувствуя, как усталость наваливается разом, во всех костях сразу, и впервые за два дня у меня есть крыша над головой, пусть дырявая, пусть чужая, и имя человека, который пока не бросил меня умирать в одиночку.

Я закрываю глаза, и темнота внутри век кажется куда менее страшной, чем та, что снаружи, потому что в этой темноте есть хотя бы одно слово, за которое можно уцепиться — Лира.

Глава 4. Первые правила мира

Свет пробивается сквозь прорехи в крыше узкими жёлтыми полосами, и одна из них ложится прямо мне на глаза. Я просыпаюсь не сразу — тело затекло от сена, плечо, которое задел вчерашний зверь, ноет тупо и ровно, напоминая о себе при каждом вдохе. Где-то снаружи кричит петух, если это вообще петух, а не какая-то местная тварь с похожим голосом.

Я сажусь, нащупываю лепёшку — вторую половину я оставил на утро, хотя вчера хотелось съесть всё разом, и теперь мелкая гордость за это решение греет едва ли не сильнее еды. Отламываю кусок, жую медленно, растягивая, и смотрю в щель между досками на кусок частокола, серого и влажного от ночной росы.

Разбитая телега всё так же стоит в углу, напоминая о себе спицей, торчащей, как сломанное ребро. Я доедаю последний кусок, отряхиваю ладони от крошек и жду, не зная толком, чего жду — то ли рассвета целиком, то ли шагов, то ли хоть какого-то знака, что меня не бросили здесь гнить вместе с этой телегой.

Шаги появляются раньше, чем я готов к ним. Лира идёт быстро, почти зло, и по тому, как она толкает дверь сарая, а не открывает её, я понимаю: разговор у частокола вышел не в мою пользу.

— Ну что, — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, — пускают?

Она останавливается у входа, скрестив руки, и смотрит мимо меня, на телегу, будто та внезапно стала интереснее моего лица.

— Старейшина сказал то, что я и так знала, — отвечает она. — Нет клейма — нет входа. Хоть сдохни под воротами.

Слово «сдохни» повисает между нами слишком будничнo, как будто речь идёт не обо мне, а о бродячей собаке, которую не пустили на порог.

— А если бы я… не знаю, попросил сам? Объяснил?

— Объяснил что? — Она впервые смотрит мне прямо в глаза, и в её взгляде нет насмешки, одна только усталость человека, которому надоело растолковывать очевидное. — Что ты ниоткуда? Что у тебя нет клана, нет оружия своего, нет знака на коже и даже имени такого, которое они слышали хоть раз? Для них это не история про чужака. Для них это значит — шпион, или проклятый, или просто голова, за которую кто-то что-то даст. Выбирай любое, им всё равно.

Я молчу, потому что добавить к этому нечего: она права, и мне нечем крыть эту правоту, кроме как собственным существованием, которое здесь никого не убеждает.

Лира опускает руки, выдыхает тяжело, словно решение далось ей не легче, чем мне — его услышать.

— Пойдёшь со мной, — говорит она. — Дальше.

— Дальше — это куда?

— Куда получится. — Она пожимает плечом так, будто сама не уверена в ответе. — Я не могу оставить тебя здесь. Не потому что жалко, не думай себе лишнего. Оставить тебя тут — всё равно что перерезать горло самой, только руки чище будут. Так уж вышло, что я нашла тебя первой, значит, мне с этим и разбираться.

Я киваю, хотя внутри что-то сжимается от того, как спокойно она произносит про горло, будто это самая обычная вещь на свете, вроде погоды или урожая.

— Ладно, — говорю я, поднимаясь на ноги и чувствуя, как сено сыплется с одежды. — Тогда пока мы идём… у меня вопрос с прошлой ночи остался.

Она уже разворачивается к выходу, и я почти теряю её внимание, но успеваю зацепить словом раньше, чем она шагнёт за порог.

— Ты сказала — уровень. Вчера, когда проверяла меня. Что это значит?

Она замирает в дверном проёме, и свет утра обрисовывает её силуэт чётче, чем вчерашний закат, — я вижу, как напрягаются её плечи, будто вопрос физически неудобен ей, как камешек в сапоге.

— Это долго объяснять, — говорит она, не оборачиваясь.

— У нас, похоже, будет время, раз мы идём вместе.

Она наконец поворачивается, и на её лице написано то самое выражение, с каким смотрят на упрямого ребёнка, который не отстанет, пока не получит ответ, — смесь раздраже-

ния и чего-то похожего на смирение.

— Хорошо, — говорит она после паузы, которая тянется ровно столько, чтобы я успел подумать, что получу отказ. — Расскажу. Один раз, пока идём. Не буду повторять дважды и объяснять каждую мелочь, если не понял с первого раза — твоя беда.

— Идёт, — киваю я, и в груди что-то слабо, но отчётливо теплеет, похожее не то на благодарность, не то на облегчение от того, что хотя бы это колесо сдвинулось с места.

Лира закидывает сумку на плечо и шагает за порог сарая, в сторону тропы, уходящей прочь от частокола, и я иду следом, стараясь не отставать, пока утренний свет медленно заливает поляну впереди, обещая если не ответы, то хотя бы начало пути к ним.

* * *

Тропа идёт вдоль кромки джунглей: с одной стороны — стена зелени, густой и влажной, с другой — открытая полоса выжженной солнцем земли, будто кто-то провёл границу линейкой и сжёг всё, что оказалось лишним. Лира держится ближе к деревьям, почти не оглядываясь на меня, и говорит так, словно выталкивает слова против собственной воли.

— Уровень растёт от двух вещей, — начинает она, не замедляя шаг. — Первая — убиваешь тварь, получаешь немного силы. Крысолова какого-нибудь, падальщика, даже простого вредителя с полей. Самое надёжное. И самое медленное.

— Насколько медленное?

— Сто крыс — и ты почувствуешь, что стал чуть крепче. Может, сотня. Может, больше. Зависит от зверя, зависит от тебя.

Я пытаюсь представить это число и не могу — не потому что оно большое, а потому что мне нечем его измерить. У меня в голове нет шкалы для «немного силы», только смутное ощущение собственной слабости, которое я носил с собой последние два дня, как второй рюкзак.

— Вчера, — говорю я, — когда та тварь меня зацепила. Было такое чувство... не боль, а будто что-то толкнуло изнутри. Коротко.

Лира коротко кивает, не глядя на меня.

— Это оно. Задело тебя — получил крупицу. Задел ты её — получил бы больше, если бы убил.

— А если бы убил ту тварь, что меня чуть не сожрала?

— Получил бы ощутимо. Такие звери посильнее крысы.

Я молчу, обдумывая это. Значит, всё, что случилось со мной за эти два дня — голод, страх, скользящий удар по плечу, который до сих пор ноет при каждом резком движении, — всё это не прошло бесследно, просто я не знал, на что смотреть. Будто кто-то вёл счёт у меня за спиной, а мне не показывали табло.

— Хорошо, — говорю я. — Убийство тварей. А второе?

Лира впервые за весь разговор замедляет шаг — не останавливается, но будто спотыкается о собственную мысль. Я

вижу, как она на секунду поворачивает голову в сторону джунглей, туда, где тень гуще, и тут же отворачивается обратно.

— Второе сильнее, — говорит она после паузы. — Сильнее — намного. Иногда один раз даёт больше, чем месяц убийств.

— Что это?

— Узоры, — произносит она так, будто само слово неприятно ей на вкус. — Разбросаны по земле, по камням, по стенам пещер. Светятся иногда, иногда просто видны, если приглядеться. Аномалии какие-то. Разгадаешь — получишь скачок. Большой.

Что-то в её голосе меняется, когда она это говорит, — не страх, а что-то более тяжёлое и привычное, похожее на усталость человека, который объясняет правило, из-за которого уже кого-то потерял. Я хочу спросить, что значит «разгадаешь», но она уже обрывает сама себя, прибавляя шаг, будто пытается оставить тему позади вместе с лишним десятком шагов.

— Погоди, — говорю я, догоняя её. — Разгадать — это как? Что вообще за узоры?

— Я сказала — расскажу один раз, и это уже больше, чем я собиралась.

— Ты не рассказала ничего толком. Просто сказала, что они есть.

Она останавливается так резко, что я чуть не налетаю на

неё, и оборачивается — глаза у неё сейчас не настороженные, как ночью, а злые, с тем особенным раздражением, с каким смотрят на человека, упорно наступающего на больную мозоль.

— Про узоры рассказывают только тем, кого не жалко потерять, — чеканит она. — Понимаешь разницу? Я тебя довела до частокола, кормлю своей едой, трачу своё время — а ты мне никто. Если я скажу тебе лишнее и ты полезешь разгадывать первый попавшийся камень, какой увидишь, и сдохнешь от этого, — мне с этим жить, не тебе. Тебе будет уже всё равно.

— Я не говорю, что полезу прямо сейчас...

— Все так говорят. — Она коротко, зло усмехается, и в этой усмешке слышится что-то личное, что-то, о чём она явно не собирается рассказывать. — А потом лезут. Потому что сильнее хочется сразу, а не через сто крыс.

Я молчу, потому что спорить тут не с чем: она права хотя бы в том, что я уже чувствую этот зуд, это желание узнать больше, прямо сейчас, пока слова ещё висят в воздухе между нами. Но давить дальше — значит рисковать тем немногим доверием, которое я успел выгрызть у неё за ночь в сарае.

— Ладно, — говорю я тише. — Проехали.

Лира смотрит на меня ещё секунду, будто проверяет, не притворяюсь ли я, потом коротко кивает и разворачивается обратно на тропу.

— Идём, — бросает она. — До Прибрежья отсюда ещё

хороший кусок дня.

Я иду следом, стараясь не отставать, и думаю о том, что она произнесла слово «Прибрежье» так, будто оно должно было мне что-то объяснить — а я снова ничего не понимаю, кроме того, что это, видимо, какое-то новое место, не то поселение, у которого я вчера ночевал снаружи, не то что-то ещё. Спрашивать сейчас я не рискую: лимит вопросов на сегодня, кажется, я уже исчерпал с лихвой.

* * *

Тропа ныряет под низкие ветви, и когда выныривает обратно на свет, я вижу его — обрубок ствола, вкопанный в землю по пояс, с грубо вырезанной меткой на срезе. Не та спираль с зазубринами, что торчала у частокола Прибрежья. Эта метка — три вертикальные черты, перечёркнутые одной косой, будто кто-то рубил топором наспех и не стал доводить до красоты.

Лира замедляет шаг раньше, чем я успеваю спросить, и смотрит на столб так, как смотрят на чужую собаку у своего двора — не враждебно, но с полной готовностью развернуться.

— Чужие угодья, — говорит она, понижая голос, хотя вокруг ни души. — Клан Костяного Рога. Дальше тропа всё равно наша, срезать нельзя, но лучше не топтаться на виду.

— Угодья, — повторяю я, пробуя слово на вкус. — В смысле они тут землю себе застолбили? Прямо посреди джунглей?

— Не землю. — Она чуть кривит губы, будто я сказал глупость, которую слышала уже сто раз. — Рудник у них там, за холмом. И тропа к нему, и подземелье неподалёку — вот это их. А деревья между — да хоть вся Элаффия ими заросла, плевать всем. Земля ради земли никому не нужна. Нужно то, что из неё достают.

Мы обходим столб по широкой дуге, и я ловлю себя на том, что всё жду, не выскочит ли кто из кустов с топором. Никто не выскакивает. Просто ещё одна граница, прочерченная на пустом месте, как будто кто-то расчертил карту мира линиями, которых не видно глазу, но которые здесь значат больше, чем сама земля.

— А если тут, скажем, Тьма эта ваша ползёт, — говорю я, подбирая слова осторожно, — или твари вот эти ваши ночные воют что было сил — кто вообще следит, чтобы за эту черту не перелезло? Король какой-нибудь? Совет?

Лира фыркает — коротко, зло, без тени веселья.

— Какой король.

— Ну я не знаю. У вас тут должен же кто-то быть главный. На весь континент. Кто-то, кто сказал бы: так, хватит делить рудники, у нас тут гниль наступает, надо границы прикрывать сообща.

— Был бы кто-то такой — может, и прикрывали бы. — Она идёт теперь быстрее, будто разговор сам подталкивает её в спину. — Только правителям своим землям дела хватает. Там у одного брат на трон глаз положил, тут у другого

налоги недособрали, там третий со вторым полвека не разговаривает из-за колодца какого-то, который сто лет как высох. До внешних земель, до таких, как эта тропа, никому дела нет. Кому охота посылать войско защищать джунгли, за которые никто налог не платит?

Я молчу, пытаясь уложить это в голове — мир размером с континент, и ни одной руки, которая держала бы его целиком, только десяток вцепившихся в свои куски пальцев.

— Значит, каждый сам по себе, — говорю я наконец. — И поэтому Прибрежье меня не пустило. Потому что никто ни за кого не отвечает, кроме своих.

— В точку. — Лира не смотрит на меня, смотрит под ноги, на корни, переплетённые в узел прямо посреди тропы. — Своих защищают. Чужих — в лучшем случае терпят. В худшем...

Она не договаривает, и я не переспрашиваю, потому что вижу — что-то в её лице меняется, уголок рта дёргается вниз, будто она прикусила что-то горькое.

— У меня дом был, — произносит она вдруг, тихо, почти без интонации, как будто читает список, а не вспоминает. — Деревня. Маленькая, не на всякой карте найдёшь. Два клана с ней соседних полгода собачились из-за подземелья в трёх днях пути — кому разгадки доставать, кому твари прибивать. Пока собачились, никто не прислал даже десяток мечников на нашу стену, когда она понадобилась.

Я жду продолжения, но его не будет — я уже вижу по то-

му, как она вскидывает подбородок и прибавляет шаг, что дверь, которую она приоткрыла на секунду, захлопнулась сама собой.

— Это неважно, — бросает она через плечо, уже другим тоном, деловым, как будто и не было ничего. — Идём, нам ещё половину дня топать, а я не собираюсь ночевать в этих кустах второй раз подряд.

Я иду следом, стараясь не отставать, и чувствую, как во мне застревает что-то вроде занозы — не вопрос даже, а осадок от него. Мир, где подземелье стоит дороже деревни. Мир, где границу чертят не по земле, а по тому, что из неё можно выдрать. Я вырос в месте, где за пожарную тревогу приезжают через семь минут из любого района, хоть ты богач, хоть нет, — и вот теперь иду по тропе, где стена целой деревни могла рухнать просто потому, что никому не было до неё дела.

Лира идёт впереди, прямая, как будто несёт на плечах что-то невидимое и давно привычное, и я решаю, что про деревню спрашивать больше не буду. Не сегодня.

* * *

Тропа ныряет под низкие ветви, усыпанные мелкими колючими листьями, и на миг я теряю Лиру из виду — она ушла чуть вперёд, огибая завал из гнилых стволов. Я иду по краю, где джунгли отступают перед сухой проплешиной, и тут замечаю его.

Свет. Тусклый, будто кто-то прижал к камню уголёк и тот

почти погас, но не до конца. Плоский валун, вросший в землю сбоку от тропы, мерцает изнутри — не отражает солнце, а светится сам, пульсируя неровно, с перебоями, как будто под серым камнем бьётся что-то живое и не очень здоровое.

— Лира, — зову я, не отрывая взгляда. — Смотри.

Я делаю шаг в сторону валуна, и в ту же секунду её пальцы впиваются мне в плечо так резко, что я чуть не падаю.

— Стой. — Голос у неё садится до шёпота, и в нём появляется что-то, чего не было ни разу за всё утро — не раздражение, не усталость, а настоящий, неподдельный испуг. — Стой, не ближе.

Она оттягивает меня назад, за линию каких-то невидимых для меня границ, и я вижу, как краска уходит с её лица, оставляя его серым, почти под цвет камня.

— Аномалия, — произносит она так, будто само слово обжигает рот. — Это аномалия.

— Я уже слышал это слово от тебя сегодня, — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Ты говорила, есть что-то сильнее убийства тварей. Это оно?

— Оно. — Лира не отпускает моё плечо, держит крепко, будто боится, что я дёрнусь вперёд сам по себе. — Иногда такие узоры разгадывают. И тогда сила приходит сразу, много, за один раз — больше, чем за месяц резни в этих джунглях.

— А иногда?

— А иногда разгадавшего находят потом без руки. Или без памяти. Или не находят вообще, только пятно на земле,

будто он там и не стоял никогда. — Она говорит это быстро, глотая концы слов, как человек, который хочет отделаться от темы скорее, чем закончить фразу. — Их не трогают, Марик. Их обходят. Про них рассказывают только тем, кого не жалко потерять, я тебе так и сказала.

Свет на валуне дрогнул, разгорелся чуть ярче, и я вижу — там не просто пятно. Там узор, тонкие линии, сплетённые кругами одна в другую, и они двигаются, медленно пульсируя, как будто камень дышит через них. Я делаю шаг вперёд, не рассчитывая этого делать, просто ноги сами несут меня туда, и хватка Лиры соскальзывает с плеча.

— Я сказала стой, — шипит она мне в спину, но я уже ближе, и теперь вижу отчётливо.

Линии не просто светятся — они вздуваются, как вена под тонкой кожей, когда сжимаешь руку в кулак, набухают и опадают в такт чему-то, чего я не слышу, но почти чувствую кожей. От камня тянет холодом, резким, металлическим запахом, будто кто-то поднёс к лицу нагретый на морозе гвоздь — запах старого железа и ещё чего-то, чему я не могу подобрать слова, чего не бывает в моём мире.

— Марик. — Лира оказывается рядом, хватает меня за рукав обеими руками теперь, тянет назад с силой, которой я от неё не ожидал. — Отойди. Сейчас же.

Я слышу её, я правда слышу каждое слово, и часть меня, та самая, что выросла в мире с техникой безопасности и предупреждающими табличками, кричит: отойди, идиот, ты не

знаешь, что это. Но другая часть, та, что до этого утра жевала половину лепёшки, считая это завтраком, та, что вчера едва не сдохла от голода на ничейной земле, та, что носит в себе ощущение жалкого первого уровня, будто клеймо позора, — эта часть не может отвести взгляд.

Узор на камне разгорается ярче, линии текут одна в другую, складываясь во что-то похожее на знак, но не дающееся глазу целиком, будто я смотрю сквозь воду, и течение постоянно сдвигает картинку за секунду до того, как я успеваю её разобрать.

— Отойди, — повторяет Лира, уже тише, но в этой тишине больше страха, чем в крике. — Пожалуйста.

Я не отвечаю. Я стою и смотрю, как бьётся сердце под камнем, и думаю о том, что я уже один раз чуть не умер в этом мире от голода, безоружный, бесполезный, первого уровня из кто знает скольких, и что где-то там, в этих линиях, может быть, лежит ответ на вопрос, который я боюсь произнести вслух — хватит ли мне вообще сил выжить здесь дольше недели.

* * *

Лира делает ещё шаг, хватает меня за ворот рубахи уже не по-дружески, а так, как хватают человека, собравшегося прыгнуть с обрыва.

— Марик. Я видела, что это делает с людьми. Я не собираюсь потом объяснять твоим... — она давится словом, будто не знает, кому я должен был бы принадлежать, кому до-

кладывать о моей смерти, — ...никому.

— У меня никого нет, — говорю я, и это звучит проще, чем должно бы. — Тут. Там. Нигде.

Она смотрит на меня так, как будто я только что признался в чём-то постыдном, и хватка на вороте слабеет — не потому что она согласна, а потому что слова застревают у неё в горле вместе с возражением. Я этим пользуюсь. Опускаюсь на колени перед валуном, ладони на тёплой от солнца земле, и узор прямо передо мной, в полуметре, пульсирует медленнее, чем до этого, будто почуял, что к нему подошли вплотную, и затаился.

— Не трогай, — говорит Лира за спиной, уже без прежней силы, скорее по инерции, как человек договаривает фразу, зная, что она ничего не изменит.

Я тяну руку. Пальцы дрожат, и я убеждаю себя, что от холода, который идёт от камня, хотя воздух вокруг тёплый, душный, пахнет листвой и прелой землёй джунглей. Кончики пальцев касаются первой линии.

Холод прошивает кожу острой иглой, бежит вверх по руке к плечу, разворачивается там колючим комом и гаснет — весь этот путь занимает меньше секунды, но я успеваю почувствовать каждый его сантиметр, как будто под кожу засунули тонкую проволоку и провернули. Волоски на предплечье встают дыбом. Узор под пальцами вздрагивает, линии чуть смещаются, будто подстраиваются под прикосновение.

И тут приходит оно — не образ, не картинка, а ощуще-

ние, вырванное из другой жизни: бетонный пол гаража, лужа маслянистой воды под верстаком, оголённый конец провода, который я не заметил вовремя. Тот же сухой разряд, та же судорога через руку в плечо, только там было в десять раз сильнее, там меня швырнуло на спину и выключило свет в голове на сутки с лишним. Здесь — слабый отголосок того удара, его бледная тень, будто кто-то включил ту же лампу, но вкрутил маломощную лампочку.

Я не одёргиваю руку. Наоборот — что-то в этом узнавании цепляет меня крепче любого страха. Я знаю этот холод. Я уже умирал от него однажды, в своём мире, и выжил.

— Марик, — шепчет Лира, и в этом шёпоте слышно, что она уже не пытается меня остановить, просто не может молчать.

Я не думаю о том, что делаю дальше. Голова молчит, никаких мыслей о правильности или логике, только палец сам скользит ко второй линии, потом к третьей, минуя четвёртую, возвращаясь к первой и обходя её по кругу — порядок складывается не в рассуждении, а в чём-то, что сидит глубже рассуждений, в том же месте, откуда приходит ощущение голода или жажды. Будто кто-то давно, ещё до моего рождения, нарисовал эту последовательность у меня под кожей, и сейчас палец просто читает её, как слепой читает выпуклые точки.

Линии под пальцами теплеют. Нет, не теплеют — меняют температуру слишком быстро для тепла, скачут от обжигаю-

щего холода к почти горячему и обратно, и с каждым переходом пульс узора ускоряется, набухает чаще, чаще, пока весь камень под ладонью не начинает мелко дрожать, как корпус машины на холостых оборотах.

— Отойди! — кричит Лира уже в полный голос, и я слышу, как она делает шаг назад сама, а не вперёд, ко мне.

Я довожу палец до последней точки круга.

Узор вспыхивает весь разом, ослепительно, так, что сквозь закрытые веки я вижу белое пятно, выжженное прямо на сетчатке. Я не успеваю зажмуриться до конца — свет гаснет так же резко, как вспыхнул, и камень под рукой становится просто камнем, серым, тёплым от солнца, без единой линии, будто там никогда ничего и не было.

А внутри черепа что-то лопается.

Не больно — точнее, не так больно, как я жду, готовясь к удару. Это ощущение похоже на хлопок лопнувшего в ушах пузыря, когда резко меняется высота, только пузырь лопается не в ушах, а где-то за глазами, разливаясь волной по всей голове, вниз по шее, по позвоночнику, растекаясь по рукам и ногам колким покалыванием, будто всё тело разом отсидело и начинает отходить. И следом — ощущение, которое я узнаю мгновенно, потому что уже чувствовал его слабый отголосок прошлой ночью, когда мой сук попал по зверю в темноте. Только сейчас оно не мимолётное, не на грани восприятия. Оно обрушивается лавиной, заполняя собой весь мой разум до краёв, выталкивая оттуда и страх, и усталость,

и голод — чистое, оглушающее ощущение роста, будто кто-то одним движением долил в пустой стакан воды под самое горлышко и продолжает лить.

Я падаю вперёд, упираясь ладонями в землю по обе стороны от мёртвого теперь валуна, и единственное, что мне удаётся выдавить сквозь зубы, — короткий, сорванный выдох, в котором нет ни слова, только звук.

* * *

Земля под ладонями холодная и влажная, пахнет прелой листвой, и я цепляюсь за этот запах, как за единственное, что осталось настоящим. Ощущение уровня внутри — то самое, что я чувствовал пустым, бесплотным числом с первой минуты в этом мире, — теперь ворочается, тяжёлое, будто кто-то залил в пустую бутылку не воду, а расплавленный металл, и металл ещё не остыл. Он не просто прибавился. Он стал другим на ощупь, плотнее, насыщеннее, и это плотность отдаётся где-то в груди глухим, низким гулом, как будто внутри меня включили мотор, который раньше молчал.

Я поднимаю голову. Лира стоит в трёх шагах, и в первый раз с нашей встречи я вижу на её лице не расчёт, не ту настороженную оценку, с которой она мерила меня все эти часы — сколько от меня пользы, сколько вреда, стоит ли тащить дальше. Сейчас она смотрит так, будто я сделал что-то, чего не должен был уметь, и теперь она не знает, куда меня определить.

— Сколько раз ты это делал? — спрашивает она, и голос

у неё севший.

— В первый.

— Врёшь.

— Нет.

Она делает полшага ко мне, останавливается, снова смотрит на мёртвый теперь камень, серый, без единой линии, будто его и правда никогда ничего не трогало, кроме солнца.

— Я видела, как узор берёт за палец, за кисть целиком. Знала одного, кто разгадывал три дня, спал у камня, ел у камня — и вышел седым стариком в теле мальчишки. — Она качает головой, медленно, словно до сих пор не верит собственным глазам. — А ты подошёл и провёл пальцем, как будто вспоминал, где у себя чешется.

— Я не знал, что делаю.

— Вот это и страшно. — Она произносит это тихо, без насмешки, которой была полна каждая её вчерашняя фраза в мой адрес. — Либо ты безумец, которому повезло сдохнуть не сразу, либо ты из тех, с кем лучше не спорить. Третьего я пока не придумала.

Я сажусь на пятки, провожу ладонью по лицу, и тут замечаю: пальцы, которыми я касался линий, не греются. Остальная рука тёплая, нормальная, а вот кончики пальцев правой руки — ледяные, будто я минуту назад держал их в сугробе, и холод не желает уходить, сколько я ни сжимаю кулак. Я тру их друг о друга, дую на них, но под кожей по-прежнему сидит что-то вроде остаточного инея, тонкая корка холода,

которая не тает от трения.

— Что с пальцами? — спрашивает Лира, заметив мои манипуляции.

— Мёрзнут. С того момента, как я... — Я киваю на камень.

Она подходит, берёт мою руку в свою — коротко, по-деловому, без той опаски, с какой касалась бы заразного, — и тут же хмурится.

— Холодные. Как у покойника. — Отпускает руку так же быстро, как взяла. — Это не должно так быть. Я слышала, после узоров люди теряют память, теряют пальцы, теряют рассудок. Про холод, который не уходит, не слышала.

— Может, это пройдёт.

— Может. — Она не звучит уверенно.

Я сгибаю пальцы, снова разгибаю. Под кожей покалывает, как будто кровь только-только начинает возвращаться в отсиженную ногу, только покалывание не угасает, а держится ровным, тихим фоном, и мне почему-то кажется — не уйдёт оно вовсе, просто станет привычным, как шрам на коже становится не раной, а частью тебя.

Лира отходит от камня на несколько шагов, останавливается, глядя в сторону тропы, по которой мы шли сюда, в сторону, где, по её же словам, лежит Прибрежье с его частоколом и старейшинами, не пустившими меня даже на порог. Потом поворачивается в другую сторону, туда, где джунгли густеют, где зелень темнеет до того оттенка, что уже не ка-

жется живой, а кажется просто чёрной.

— В Прибрежье тебе всё равно нет ходу, — говорит она, будто размышляя вслух, не со мной, а с собой. — Старейшины увидят, что ты сделал с узором, и либо захотят тебя в клан силой, либо решат, что проще прирезать, пока не вырос в кого-то, кого прирезать уже не выйдет.

— Приятный выбор.

— Я не договорила. — Она смотрит на меня через плечо, и в этом взгляде впервые за всё время нет ни тени того снисхождения, с которым она тащила за собой голодного бродягу без оружия и без имени. — Дальше, вглубь земель, таких узоров больше. И тварей, которые их охраняют, тоже больше. Туда даже охотники за добычей не суются без клана за спиной, без десятка клинков и жреца на подхвате.

— Зачем тогда говоришь мне это?

Она молчит, долго подбирая слова, и в этом молчании слышно, как она взвешивает что-то совсем не похожее на вчерашнее «бросить тебя тут значит убить».

— Потому что либо это станет твоей могилой, либо нашим шансом, — произносит она наконец. — А я устала хоронить тех, кому не повезло.

Она разворачивается к джунглям, к той их части, где свет между стволами гуще теней, и впервые не говорит мне идти следом, а просто идёт сама, уверенная, что я пойду. И я иду, стискивая зябнущие пальцы в кулак, чувствуя, как внутри черепа всё ещё оседает пыль от того взрыва, который я

устроил сам себе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.